

Предисловие

ЭТО НАШ ПРИГОВ

Я, когда с Приговым познакомился в 1980 году, совершенно не знал, кто он такой. Ибо был он тогда полностью сформировавшимся продуктом андеграунда, где считалось хорошим тоном сказать: «Стихи твои, товарищ, такое дерьмо, что их можно даже и в журнале «Юность» напечатать». Я же только-только в андеграунд был низвергнут после кратчайшего (7 месяцев 13 дней) пребывания в Союзе советских писателей и только-только осваивал это новое для меня пространство.

Исторически сложилось так, что мы с Д.А. тогда крепко подружались не только на почве взаимных занятий литературой и сопутствующего этому процессу навязчивого внимания КГБ к нашим скромным персонам, но и потому, что жили мы по московским меркам рядом. Он в Беяево, я в Теплом Стане, встречались чуть ли не ежедневно.

Мало кто знает, что в 1984 году Д.А. крестился в православную веру и я стал его крестным отцом в прямом смысле этого слова. Отмечу, что Пригову я в крестные не навязывался, он сам меня об этом попросил и был крайне серьезен, торжествен, отнесся к крещению безо всякого там *постмодернизма* или, упаси бог, *концептуализма* (мир обоим этим литературно-художественным начинаниям).

Максим Гуреев

Ну а когда уже *стало можно* и КПСС вдруг объявила «перестройку», то в тогдашней «Литературной газете» состоялась первая *официальная* публикация стихов Д. А. Пригова, предваряемая, так уж исторически сложилось, моим кратким предисловием, где были слова о том, что Пригов, которого считают родоначальником московского концептуализма, в моих глазах — «всего лишь» крупный русский лирический поэт. Не больше, но уж никак не меньше.

Взгляд, возможно что и варварский, но я до сих пор уверен — верный.

Вот его стихи, написанные им в начале 60-х, задолго до «милицанера», «образа Рейгана в советской литературе», инсталляций и перформансов:

Небо с утра позадернуто тучами,
День по-особенному неуютен.
Так вот живу я, как будто бы мучают,
Будто бы жить на земле не дают.

Кто не дает? Все дают понемножечку,
Этот дает и вот этот дает.
Так проясняется все понемножечку,
Время проходит, а жизнь не идет.

Добрый, нервный, нежный, ранимый человек был Дмитрий Александрович, который никогда ни на чем не настаивал. А просто жил. Просто писал. Просто рисовал. Пел советские песни. Танцевал. Играл на саксофоне. Кричал «кикиморой».

Дальнейшее всем известно не меньше, чем сама персона Д.А., которая теперь стала *культовой* (извините за это расхожее, но точное слово).

Пригов. Пространство для эха

Искусство Пригова теперь принадлежит народу.
Так теперь будет вечно.

Ведь в литературе каждый занимает свое место или не занимает его вообще.

Пригов — это наш Пригов, это наш Пригов, это наш Пригов, это наш Пригов, это наш Пригов, это наш Пригов.

И так — до бесконечности. И так теперь будет всегда.

Евгений Попов

20 июля 2018.

Удзано, Италия

«К счастью, во мне еще не умер прямодушный и простой паренек из двора на углу Мытной улицы, близ Даниловского рынка».

Д. А. Пригов

Пролог

Дмитрию Александровичу постоянно снится один и тот же сон: ему шесть лет, и он лежит в больничной палате, потолок которой населяют улетевшие туда простыни. Из застиранных наволочек и пододеяльников они свили себе гнезда и теперь живут в них.

Шестилетний мальчик боится закрыть глаза, чтобы не стать добычей десятилетнего идиота по прозвищу Вагон.

После отбоя, когда во всех палатах выключают свет (остаются гореть только лампы-дежурки в коридоре и на лестнице), Вагон выбирается из-под одеяла и начинает прыгать через кровати. Нередки случаи, когда идиоту не удается выполнить задуманное, и он падает на очередного спящего пациента детского санатория для больных полиомиелитом детей.

Свое прозвище Вагон получил неслучайно — хоть ему и десять лет, но на вид ему можно дать и все шестнадцать, у него огромная грушевидная голова, широкие плечи и не вмещающаяся ни в одни больничные шаровары задница.

И вот Дмитрию Александровичу снится, что Вагон подбирается к его кровати, стоящей у окна, придурковато щерится, мол, сейчас перепрыгну этого дохляка,

Пригов. Пространство для эха

разбегается, но при отталкивании от паркета поскальзывается и падает на него.

Погребает его под собой.

Из книги Д. А. Пригова «Живите в Москве»: «Болезнь разила моих сверстников весьма разнообразными, порой чрезвычайно изощренными способами... Некоторые... лишились разума при полнейшей, удивительной, даже переизбыточествовавшей возможности двигаться и скакать. И они скакали... Помню нависшее надо мной, в непосредственной близости от моего лица, глаза в глаза, нос в нос, дыхание в дыхание, лицо дегенерата... Тяжело, нездорово дыша, он грузно и неуклюже, прямо издевательски медленно, переползал, почти проплывал, как в невесомости, надо мной — недвижимым, холодным, еще пуще холодеющим от ужаса».

Дмитрий Александрович кричит во сне, потому что оказывается в бездонном вонючем, пахнущем потом и нестиранными кальсонами подzemелье, из которого нет выхода, и в ужасе просыпается.

Светает.

Над Беляево плывет слоистая туманная дымка.

Дмитрий Александрович выходит на балкон, чтобы почувствовать обжигающую прохладу раннего утра конца сентября.

Мысленно он соглашается с тем, что этот сон, видимо, будет преследовать его всегда, что к нему уже давно следует привыкнуть и не делать из его просмотра трагедию, а потому Дмитрий Александрович с удовольствием вдыхает пахнущий антоновкой, прелыми листьями, наполненный шелестом живущих теперь уже на небесах стиранных-перестиранных простыней осенний туман.

Выпускает его из ноздрей.

Выпускает пар изо рта.

Усмехается и качает головой: а ведь эти треклятые простыни и были во всем виноваты.

Тогда, когда лежал на больничной койке и смотрел на них, не отрываясь, наивно помышлял, что они отгонят от него сон и он не проспит нашествие Вагона — слабоумного Паши Звонарева.

Но все получалось совсем по-другому, наоборот получалось — простыни веяли ангельскими крылами, и верхние подвижные веки начинали трепетать, наливались свинцом да и обрушивались на глаза под воздействием всесильного Гюпноса.

Какое-то время можно было еще бороться с этим обрушением, но вскоре мальчик изнемогал совершенно, утрачивал всяческую волю и впадал в призрачный болезненный полусон, который не то что не расслаблял всех его членов, но еще более сковывал их электрическим напряжением. Во всем теле наступал мучительный, доводящий до тошноты тремор, что гудел, как линия высоковольтных передач.

Падение же Звонарева оказывалось разрядом чудовищной мощности, после которого наступала непроглядная тьма, и сердце останавливалось.

И это уже потом парализованную часть тела обкладывали горячим парафином, из которого медсестра казашка Темирбулатова лепила фигурки «Айголек», «Тазша бала», «Кулегеш» и «Айдар косе».

Показывала их маленькому Диме и улыбалась.

Из книги Д. А. Пригова «Живите в Москве»: «Приходила вышеупомянутая капустообразная нянечка, отгоняла супостатов, приводила в порядок разбро-

Пригов. Пространство для эха

санные вещи и мои перепутанные недвижимые члены. Обкладывала обжигающим парафином всю мою левую пораженную сторону, через то абсолютно нечувствительную к самым грубым касаниям, болезненным уколам огромной грязной иглой и к этому самому горячему, прямо раскаленному парафину. Прикрывала легким протершимся полушерстяным одеялом и садилась рядом. Она почему-то избрала меня своим любимцем — Господи, единственный раз кто-то избрал меня своим любимцем! Отдал предпочтение! А может, я заслужил? А? Ведь умненький был. Кудрявенький. Белокуренький. Смиренький и тонкий до синевы... я — тростиночка! кузнечик хромоногий! щепочка судеб исторических! тараканчик задымленных и небольших кухонь московских коммуналок! зайчик! мышка полукормленная! птенчик невесомый! цыпленочек! котенок! тушканчик послевоенный! акридик повысохший!»

Дмитрий Александрович возвращается в комнату, садится к небольшому детскому столику, украшенному хохломской росписью, наудалую разрисованному красными сочными ягодами рябины и земляники на черном фоне, и начинает по памяти набрасывать шариковой ручкой портрет Вагона.

Вообще-то, тогда в послевоенном детстве у всех дворовых были свои прозвища-тотемы, которые придумывались, вероятно, для того, чтобы скрыть свое настоящее имя и не навлекать на него гнев Божий.

И вот прошло столько времени, а все эти клички помнятся — Свинья, Жердь, Толяка, Козырь, Кочура, Жаба.

Постепенно на листе бумаги облик идиота трансформируется, обрастает подробностями, вернее ска-

зять, артефактами, более относящими его к классу земноводных — чешуёй, змеиной кожей, вытянутым, нанизанным на острый хребет телом, которое заканчивается длинным перекрученным хвостом, перепонками между пальцев, узловатыми локтями, наконец, головой, совершенно лишенной всяческой растительности.

Да это уже и не Вагон никакой, а, например, Иосиф Бродский или Владислав Ходасевич, Марина Цветаева или Борис Гройс, Владимир Сорокин или Евгений Попов, Илья Кабаков или Лев Рубинштейн, Михаил Горбачев или Борис Ельцин, Владимир Путин или Григорий Явлинский, Виктор Степанович Черномырдин или Владимир Вольфович Жириновский, Егор Гайдар или Анатолий Чубайс, ну и Дмитрий Александрович Пригов, наконец.

Вымышленные существа, которых еще в начале 50-х годов XX века в своем «Учебнике по фантастической зоологии» описал Борхес, сменяют друга, создавая полнейшую иллюзию движения, которое, впрочем, не приводит к перемещению в пространстве, но к видоизменению отдельно взятого существа, личности, обретающей таким образом возможность видеть себя, проявлять себя в различных ипостасях и коченеть таким образом.

Затянувшееся оцепенение нарушает ворвавшийся через открытую балконную дверь вой сорванной автомобильной сигнализации, которой Дмитрий Александрович отвечает четко и громко:

«Во мне есть несколько разделенных существований, которые вполне сводимы, но степень их свободы друг от друга достаточно велика. Да, я — натура не цельная, что просвещенческая антропологическая модель считает недостатком. Но мне повезло, что подо-

Пригов. Пространство для эха

спела постмодернистическая культура, которая сейчас заканчивается и в пределах которой пытаются отыскать некую новую цельность. Постмодернизм возник достаточно давно и просуществовал достаточно долго, и именно в нем я состоялся как творческая личность. А новое мне не в укор, я занял определенную нишу и в ней существую. Пускай другие продалбливают другие ниши...»

Сигнализация затихает, но после подобной звуковой интродукции, надо думать, половина дома 25 на улице Академика Волгина уже проснулась.

Слышно, как кто-то сверху ругается, а снизу чихает, у подъезда греет машину, а в парадном гремит мусоропроводом.

Дмитрий Александрович тем временем завершает портрет Паши Звонарева по прозвищу Вагон, откладывает его в сторону, освобождая тем самым место для новой работы, и выходит из комнаты.

«Среди лета, в июле месяце, когда я так же, как обычно, вернувшись вечером с работы, уснул глубоко и темно, точно во мне навсегда потух весь внутренний свет...»

Андрей Платонов

РОДИНА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

1986 год

— Пожалуйста, назовите свои имя, фамилию и отчество.

— Пригов Дмитрий Александрович.

— Когда и где вы родились?

— Пятого ноября тысяча девятьсот сорокового года в Москве.

— Какими заболеваниями страдали в детстве?

— Полиомиелитом.

— Раньше приходилось к нам обращаться?

— Да и сейчас не я к вам обратился...

— И все же.

— Нет, не приходилось.

— Хорошо, — на какое-то время врач замолкает, чтобы начать производить некие таинственные записи в медицинскую карту, которая больше похожа на блин.

Странно, но Дмитрий Александрович привык, что медицинская карта должна быть толстой, она должна быть не помещающимся на столе Талмудом, романом-эпопеей «Война и мир», исчерканным чернильными строками, неоднократно переклеенным бумагой и пластырем, с торчащими из него пожелтевшими справками и направлениями.

По крайней мере, так было в его детской поликлинике на Красина, куда он, уже учась в школе, ходил вместе с матерью, вернее, куда они брели через Садовое кольцо, он на костылях, горбились под порывами ветра, вздрагивали от автомобильных клаксонов, мать держала его за плечо, чтобы он не потерялся (хотя куда он мог деться — инвалид), оглядывались по сторонам, неотрывно смотрели, дабы удостовериться, что за ними никто не идет следом.

Нет, никто не шел тогда.

Сейчас же Дмитрий Александрович неотрывно смотрит на свои руки, сложенные на коленях, и думает о том, что у него короткие пальцы и круглые, напоминающие чайные блюдца ладони. Например, когда он аплодирует, то у него получается глухой чавкающий звук, как это бывает, когда со всей силы наступаешь резиновым сапогом в мелкую лужу, из которой тут же и выдавливаются пузыри в форме мутных подслеповатых глаз неведомой рептилии.

Переводит взгляд на подоконник, на котором стоит алюминиевый электрический чайник.

— А что вас сейчас беспокоит, Дмитрий Александрович? — врач откладывает в сторону медицинский блин.

— Переворот на Гаити беспокоит, убийство Улофа Пальме и, пожалуй, достижение кометой Галлея своего перигелия во время визита в Солнечную систему, кстати, второго по счету в XX веке, — и вновь натывается взглядом на свои ладони, которые ползают друг по другу.

— Интересно, — врач придвигается к столу, — Дмитрий Александрович, скажите, а вы мнительный человек?